


ДАРИЯ
БЕЛЯЕВА
Терра

Москва
Издательство АСТ
 АСТРЕЛЬ СПб

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б44

Дизайн обложки: *Юлия Межова*
В оформлении обложки использованы изображения
из фотобанка Shutterstock
Авторы: *Lili Graphie* (семейный портрет), *Rosa Jay*

Беляева, Дария.
Б44 Терра: [роман] / Дария Беляева. — Москва : Издательство
АСТ, редакция «Астрель-СПб», 2024. — 640 с. — (Красные
тетради).

ISBN 978-5-17-145022-9

Роман — обладатель Гран-при литературной национальной
премии «Рукопись года».

Боря Шустов — не вполне человек.

С детства он знает, что ему предстоит болеть, терпеть и уме-
реть ради того, чтобы мир стал чуточку лучше. Знает, что он и
ему подобные нужны для того, чтобы предотвращать беды на
планете — и цена этой способности слишком велика.

Борина мама рано умерла — но осталась и в нем, и в его
папе. В прямом смысле тоже.

Борин папа честно старается исполнять свой долг, но он
тоже не вполне человек, и долг его несколько выходит за рамки
человеческого.

Боря думает, что у него есть выбор. Думает, что он может
жить отдельно, а мир отдельно.

Это история о чудовищах. О семье, какой бы она ни была,
и о жизни, какой бы она ни была.

#современная проза

#магический реализм

#русский нуар

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-145022-9

© Дария Беляева, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Дико прыгает букашка
С беспредельной высоты,
Разбивает лоб бедняжка...
Разобьешь его и ты!

Николай Олейников

Я верю в Господа.
И верю, что еще один ледниковый период будет.
Мы все должны умереть. Это нормально.

Алексей Балабанов

ЧАСТЬ I. БЫЛ МАЛЕНЬКИМ

Глава 1. Зубки да косточки

А когда мамка умерла, мы с отцом ее и съели, чтобы навсегда нашей была. Я когда маленький был и дядя Коля вот умер, головой, в общем, ударился, напившись водки, — папашка с мамкой его тоже ели, а передо мной положили здоровенный кусок торта «Прага», но запах абрикосового джема и шоколада ничего не отбил.

И вот папашка говорил такое:

— Мы делаем это, чтобы они никогда не покинули нас.

Когда дядя Коля кончился, мне, значит, было четыре года. Папашка посадил меня на колени, закурил и стал рассказывать про атомы, про то, что они с мамкой чего-то там будут состоять из дяди Коли вроде, он их никогда не покинет.

Я рассматривал красные сосуды у папы в белках и думал, что у него с дядей Колей были одинаковые светлые глаза. А у меня — черные, как у мамки. Я сидел у него на коленях неподвижно, смотрел на него и вдыхал запах сырого подпорченного мяса, все еще доносившийся у него изо рта.

— А почему у Лиды бабка умерла? Вот у ней бабка умерла, и ее на кладбище зарыли.

Папашка хрипло рассмеялся.

— Кого, Лиду?

— Нет, бабку ее.

Говорить я научился рано и ладно, это всем взрослым нравилось. Даже отцу. Он смотрел на меня своими светлыми глазами, зрачки его были как дыры в мироздании, такие

зрачки, узкие-тонкие, а белки — розоватые не то от заката, не то от крупных сосудов. У папы был неподвижный, остекленевший взгляд, он пару дней пил водку, начал еще до того, как дядя Коля умер, вместе с дядей Колей еще.

— Люди так не могут. Простые люди, обычные.

Это те, у которых Матеньки нет. Я уже понимал разницу-то. Они не знают крысиного языка и непрочные, не видят, как пульсирует темнота, а запахов для них в мире совсем уж мало.

— И они, — задумчиво сказал папашка, — не знают, что под землей. Поэтому и пихают туда трупы. Я б не стал.

Тут он столкнул меня с колен, встал, пошатываясь подошел к окну. Я больно ушибся, но уже знал, что папашка разозлится, если я заплачу.

А потом я увидел (в отражении увидел), что отец сам плачет. Да, плакал папашка. Вот и все, что я об этом дне точно запомнил.

А про дядю Колю только то, что глаза у него были такие же, как у отца, только не злые, а печальные. Он был, это я понял спустя много лет, рассматривая фотографии, такой себе сантехник из порно, из эротики даже. Сказочно красивый, светловолосый, светлоглазый, и лицо у него было светлое-светлое, такое, должно быть, у повзрослевших ангелов встречается. Он никогда начисто не брился, но все равно была в нем какая-то юношеская нежность, ничем не изымаемая.

Так вот, башку он себе проломил, ну да, основание черепа, и у него под глазами остались такие почти черные синяки — это кровь прилила.

Он был хорошим. Ну, мне говорили.

Да и ладно, в общем отец плакал, а я хотел куда-нибудь исчезнуть, оказаться далеко-далеко, чтобы случайно не показать: я знаю, вижу, запоминаю, какой ты слабый.

Вечером, когда меня укладывали в кровать (а она была не так далеко от обеденного стола, на котором разделали, а потом съели дядю Колю), мамка сказала:

— Боречка, ты не бойся, он тебя и мертвый будет любить.

А я и не знал, любил ли он меня живым, так что не боялся. Мамка была совсем пьяная, взгляд у нее был, как у стеклянной игрушки, смешной и жутковатый. На языке она говорила на родном, как с ней часто бывало, когда она совсем упьется, и я тоже легко на него переходил.

— А завтра вы тоже его будете есть? — спросил я.

— Будем, пока весь не съестся. Останутся одни зубки да косточки.

Она гладила меня по голове, пальцы ее были холодными, словно тело ее уже знало, что тоже умрет. Ну и глупость на самом-то деле, а то мы все не знаем, что ли?

И вот, и вот, ну да, она смотрела мне прямо в глаза, было темно, зрачков ее в черноте радужки я почти не видел.

— Матенька сказала, что мы не должны оставлять наших мертвых. Она дала нам такие желудки, чтобы их принять. Это такая любовь, Боречка. Вечная любовь. Это чтобы вечно любить.

Ну я так и понял — Матенька хотела, чтобы мы любили вечно.

— Ты послушай, — сказала мамка, перехватив меня за подбородок, чтобы привлечь мое внимание. — Они навсегда остаются с нами, никуда не исчезают. Уходят в кровь твою и в душу.

— А там застревают?

Мамка ничего не ответила, у нее глаза закрывались.

— Мам! — сказал я, ущипнув ее запястье. — Я хочу знать!

— Что хочешь знать, Боречка?

— Это значит, что люди не умирают?

— Некоторые могут жить несколько поколений после своей смерти. Если ты очень кого-то любил, он в тебе так глубоко, что когда и тебя съедят, твой мертвый перейдет вместе с тобой. Я о таком слышала.

От отца, сидевшего на кухне, ни звука не доносилось. Может, и он там себе голову разбил, подумал я, уже чуточку засыпая. У них же одинаковые с дядей Колей глаза, так что мог тоже голову разбить.

А мамка гладила меня по голове, у нее были неверные движения, один раз она прошлась мне прям по глазу. Ты была б поосторожнее, мамуль, да потрезвее, если б знала, сколько нам осталось.

— Спи, Боречка, да не думай об этом. У Матеньки Крысы своя правда. Надо жить, надо жить.

Но сама-то она своему совету не последовала и умерла через два года, пьяная, в Усть-Хантайском водохранилище. Под лед, значит, провалилась.

Об этом я помнил уже многое, я бы даже меньше хотел, но все хорошо уложилось. Это не была смерть со вкусом торта «Прага» (редкость в продмаге Снежногорска, просто сокровище). Ее выловили быстро, так что в гробу она казалась только чуточку припухшей, как с перепоя или от простуды. Вполне можно было думать, что она живая, по крайней мере пока отец искал тесак для мяса.

А гроб у нее был красивый-красивый, блестящий, и бархат внутри был как полость рта. Я только потом в одной книжке прочитал, что саркофаг переводится с греческого как пожиратель плоти. А тогда я уже об этом догадался.

Я целовал ее холодные щеки, и меня колотило от осознания, что это уже не она. Потом колотило от осознания, что это, в каком-то смысле, все еще она. Короче говоря, противоречивые чувства, все дела. Я, значит, смотрел на нее и не верил Матеньке, ненавидел Матеньку за то, что у меня больше нет мамы.

Вот у нее такой гроб красивый, папка на вертолете пригнал, самый дорогой, самый лучший (как все дорогое и лучшее, пришел — с неба), а какая ей с этого радость? И так мне хотелось заплакать, а я не мог, такие глаза были сухие, такой я весь был сухой, аж горло драло. Я подергал ее за рукав.

— Мама! Мамочка!

Потом на украинском ее позвал, как она любила. Папашка забрал ее из самого Ивано-Франковска, а уж ее собственную маму забрал из-под Могилева мой украинский дед. История моей семьи, она и про любовь, и про путешествия.

Я поболтать вообще-то любил, разве что не с кем чаще было, но тогда у меня язык только на то шевелился, чтобы «мама» еще раз сказать.

С кухни вернулся отец, тогда я снова стал говорить, как полагается.

— Лицо у ней красивое, па.

— Красивое лицо, — согласился он, налитой до дрожащих рук, и я испугался, как же он ее резать будет.

— Иди на кухне посиди, — сказал папашка.

Он закурил, закусил сигарету зубами, прижал руки к вискам. На запястье у него блестели хорошие часы, а в то же время как жалко он выглядел в нашей крошечной квартирке, в рубашке с пропотевшими черными кругами подмышками. Это была самая странная про папашку вещь: он так и не научился быть богатым.

Ну как же не сбиваться с мысли, когда про такое, да?

— На кухню иди, — повторил отец с чуть большим нажимом.

Я знал, что еще пару секунд могу постоять рядом с ней, что еще пара секунд у меня есть, а больше мне в этом мире ничего не было надо.

Я видел ее волосы под красивым платком — черные кудри, которые и мне достались, я вспоминал ее распахнутые глаза. Она была крошечная, странная, не такая чтоб прям красивая в самом-то деле, почти инопланетянка с этими ее огромными глазами и тонкими бесцветными губами.

Ей правда шла смерть, такое очень нечасто бывает, чтобы человек после смерти обрел по-настоящему законченный вид, стал завершенным произведением.

И она была такая добрая, такая нежная, она всегда так меня любила, и пьяная любила, и с похмелья даже. Я только запомнить ее хотел, всю-всю, до родинки под носом.

Тут отец отвесил мне подзатыльник, так что я едва не уткнулся лицом в ее платок.

— Ты меня не слышал, что ли?

— Слышал, что ли.

Не успел я обернуться, как отец прижал меня к себе, крепко-крепко, приподнял и поцеловал в висок.

— Иди, Боря.

Он вытолкнул меня на кухню и, когда я снова рванулся к ней, закрыл дверь, подпер ее стулом.

А мне просто хотелось, чтобы она встала из гроба и назвала меня Боречкой, еще хотя бы раз так назвала. Отец разделял ее и матерился, а я сидел и думал: какая ты хорошая, хорошая, хорошая, мамулечка, милая моя мамулечка.

Так и думал — сопли совсем распустил. Вспоминал, как она кормила меня конфетами и рассказывала мне жутенькие сказки, как мы сидели с ней перед телевизором, или я читал ей книжки, медленно и по слогам, когда она была совсем пьяной. Вспоминал ее мягкий говор, ее рассказы о Матеньке и нашем великом страшном долге (ну, про него потом, надо дотерпеть).

Короче говоря, нам с ней было славно и всегда легко.

Тогда зачем она туда упала, а может не упала, а и вовсе сама полезла?

На щеке у нее был синяк, не трупное пятно — след папашкиной любви, папашкиной ревности. Последнее, что он ей оставил. Наверное, ему было от того очень больно, он бы теперь предпочел, чтобы это был поцелуй. Я знал, как-то чувствовал, до чего ему тяжело, и это во мне отдавалось так же сильно, как собственное горе.

Я все думал о ней, смотрел на новенькую столешницу, на кухонный комбайн, на заплесневелые стены, и от всего в мире мне было противно, а ночь была непролазно долгой, мне казалось, что сквозь нее не пройти. Отец-то возился, да, долго-долго, пару раз заходил (на его манжетах я видел пятнышки крови), забирал тарелки и кастрюльки, выходил. Маленькие братишки и сестренки возились в трубах, я слышал, как они пищат (обычные люди только малую толику их голосов вообще различают). Я думал, мне придется долго драить квартиру, но отец все чисто вымыл, все сам убрал. Когда я сел за стол в комнате, отец прогремел костями в кастрюле, поставил их вывариваться. Ой, запах-то

был невероятный. С ума сойти. Потом папашка еще положил в холодильник оставшееся мясо. Когда вернулся, я уже перестал удивляться тому, что нормально воспринимаю все вокруг.

Пол был вымыт чисто, а передо мной на тарелке, которую я помнил по дням рождения и Новым годам, лежало что-то вроде гуляша. Как в мясном отделе продмага, только не замороженное.

— Пап, я не могу.

Я попытался встать, но отец надавил мне на плечи.

— Ну, раз уж ты, слабачок, не можешь, мне ее теперь что, кошечкам скормить?

Он засмеялся, неожиданно вся серьезность с него сошла.

— Папа, я не хочу, я не могу. Давай вот кошечкам. Собачкам. Не могу.

— Никто не хочет, никто не может, но никто не жалуется. Кошечки и собачки, может, тоже не могут, они ж друзья человека. Братикам отдать с сестричками?

— Братикам с сестричками, — сказал я, и такое меня охватило отчаяние, что я бы и на колени встал, но отец вдруг приложил меня головой об стол так, что тарелки звякнули, разбил мне губу, я это сразу почувствовал — по вкусу еще прежде, чем по боли.

— Это для тебя, Борис, важнее, чем для нее.

Отец налил рюмку водки, но, вместо того чтобы выпить ее самому, протянул мне.

— Только пей быстро.

Еще он сказал:

— Мудак ты мелкий, что себя жалеешь.

А я-то думал, это самое правильное, чтобы этого человека жалеть, чтобы этого человека любить — себя самого.

— Одним глотком, — сказал отец.

Но я его не послушал, отпил чуточку горечи, едва не выплюнул, и тогда отец зажал мне нос и влил в меня остатки водки. Ну я тогда, конечно, не понял, зачем все пьют.

Отец вручил мне вилку с клоунской торжественностью:

— Кушать подано.

Я трогал языком кровь, облизывал ее, вспоминал, как мама утирала меня салфеткой, когда я пачкался вареньем. Одно из первых моих воспоминаний.

— Пап, ну это же мама.

— Ну, это ею было. Всё, Борь, займи уже пасть едой.

Отец сел напротив меня. Очень быстро мне стало тепло и как-то переливчато, ушла боль, хотя я то и дело трогал разбитую губу языком.

Тогда я еще выпил, сам уже, я как-то знал, что только в полубессознательном состоянии смогу все это съесть.

— Не налегай. Блеванешь — я тебе еще положу. В холодильнике достаточно.

Вот это будет неделя, лениво думал я, мозг был как губка для мытья посуды, казалось, он пропитан грязной водой, меня мучило так сильно, что я едва различал вкус собственной матери.

А отец, он ел с аппетитом, каким Матенька наделила всех своих детишек.

— Поедешь к бабке с дедом в Ивано-Франковск? — спросил отец. — Там тепло. И ездят на автобусах, а не летают на вертолетах.

— Не поеду. Я хочу с тобой остаться здесь. А? Что ты про это думаешь? Ты про это думаешь?

Я цеплялся за слова, как утопающий за всякие там соломинки, я хотел говорить, чтобы не проблеваться. Но, кстати говоря, в целом это было обычное сырое мясо. Карпаччо, или что там. Стащенное из кастрюли мясо для шашлыка. А может, мне так казалось, потому что таким меня сделала Матенька.

— Поедешь, — сказал отец хмуро. — Кто с тобой сидеть будет?

— Я сам с собой сидеть буду.

Отец криво усмехнулся, обнажив желтоватые от курения зубы.

— Да расслабься, дед твой шахтер, конечно, но теперь они вроде как не бедствуют. Не знаю, мудила в последний раз на ее день рожденья звонил.

Папашка указал вилкой себе в тарелку, меня затошнило, и я закрыл глаза.

— Не поеду.

— Ну, а что ты предлагаешь?

Ответа на этот вопрос у меня не было, прям никакого, и я не думал, что у шестилетнего мальчика он непременно должен быть. Но жизнь такая штука, да, вот такая штука. Отец работал инженером канализационных систем. Проектировал их, улучшал, строил вместе с рабочими, а потом следил за эксплуатацией, путешествовал, короче говоря, по коллекторам. В основном отец работал в Норильске, раз в две-три недели возвращался домой к нам с матерью в Снежногорск, но вообще-то и по стране ездил достаточно, был первоклассным специалистом, быстро богател. В своем деле папашка был почти что гением, ему такие вещи прощали, господи боже мой. Конечно, его никогда не будут прославлять, как Бетховена или Шекспира, потому что самые его великие произведения связаны с дерьмом, мочой и мыльной водой, с тем, о чем люди хотят забыть, а вовсе не с материями высокими и чистыми. Но, и так отец часто говорил, если бы канализации еще не существовало к его двадцатилетию, он мог бы ее изобрести.

Папашка славно чувствовал землю и спасал тех, кто на ней живет. По-настоящему, не от грязной воды. А потом приезжал домой и колотил нас с мамкой. Вот и какой он после этого?

Мама тоже спасала, но для этого ей приходилось рыть большие-большие ямы. Я лучше всего помнил ее с лопатой и покрасневшими ручками, в меховой шапке и шубе, вбивающую лезвие в мерзлую землю.

Матенька сделала нас посильнее, чем разных других людей. Мама копала большие ямы, а потом говорила мне отойти. Говорила, что всему еще научит, а сейчас не время и небезопасно.

Не научила. Не настало время.

А чего я еще помню всегда — пульсацию темноты с другой стороны мира. Ее везде много, но под землей прям страх берет сколько. Там настоящие раны.

А она не научила, да.

Короче говоря, сидели мы с отцом долго-долго, он включил радио, и мы подпевали всяким песенкам. Он меня хотел усыпить, убаюкать.

Потом, когда я улегся спать, без маминого поцелуя на ночь (да и утро было, чего уж теперь), я успел тайком, через полузакрытые веки, увидеть, как отец целует каждый ее зубик. Все были отдельно от нее. Почему? Это я через много лет понял.

Ну а через неделю в этом красивом гробу мы снесли на могилки ее косточки. Зарывали и плакали, горько-горько. Как мамка любила говорить, океан в мире слез.

Яму отец копал сам, он не подпускал людей работать с землей, было это для него величайшим преступлением.

А над ней, на простом железном кресте с недавней фотографией, было написано: Екатерина Владимировна Шустова. В девичестве она была Щур. Прям натурально — крыса по-украински. Папашка говорил, что так с нашими часто бывает, все Волковы, все Кошкины, все Лисицины, а также Фоксы, Катцы и Вольфы с большей вероятностью из наших будут.

Екатерина, значит, она Владимировна была. Во-ло-ди-ми-ров-на, если уж так. А ее отец называл мамку Катечкой. С моим отцом познакомились они в вагоне-ресторане поезда Москва — Львов. Такие были пьяные, что нюх отшибло, друг друга сначала не узнали, полюбили просто так, в момент, без всего. Мне мамка рассказывала, что смотрела на него и думала: убегу с ним, пусть даже он человек, пусть не простят.

Но ей повезло — не человек, и даже не иной какой зверь он был.

Вот и поженились они через три недели, в восемьдесят девятом, а в девяносто первом году у них появился я. Они меня очень ждали, и я получился похожим на них обоих, почти поровну. Получился, как их любовь. Вот чего мамка говорила, пока у нее еще был рот.

Мы стояли у могилы, и было холодно, но мы этого не замечали. Отец меня обнимал, и рядом с ним я чувствовал

себя в безопасности, хотя мир вдруг стал каким-то пустым, безвкусным и тайно угрожающим.

— Я ее люблю, — сказал я. — Пап, а что делать теперь, когда ее нет, а я ее люблю?

— Книжки читать и смерти ждать.

Он сплюнул желтоватую слюну прямо на могилу, пой-мав мой взгляд, сказал:

— Да нет ее там все равно, хотя по-разному говорят, но я так считаю. Она в нас.

— Как — в нас? Как в «Короле Льве» по видику, что ли? Папашка хрипло засмеялся.

— Да навряд. Только не совсем. Ты поймешь.

И мне вдруг такая штука вспомнилась: папка всегда наливал стопку для дяди Коли, пусть его и два года не было на свете.

Ветер поднялся страшный, холодный, пронизывающий, до самых костей меня продрал, до всех уголков души.

— А цветы ей носить надо?

— Цветы будешь девкам на свидание носить. Ничего ей не надо, только чтобы ты здоров был.

А я был здоров. От этого настроение у меня чуточку улучшилось, теперь я понимал, что мамка довольна.

— Собирай вещи. В четверг, когда вертолет прилетит, доберемся до Норильска, оттуда полетишь в Москву, из Москвы поедешь на поезде в Ивано-Франковск.

Это же сколько километров мне предстояло преодолеть, ух ты!

— А я один полечу?

— С другом моим. У меня работа.

Всегда у него была работа, а Бори как будто и не было. Я вдруг так на него обиделся, ну так обиделся, думал, помри и ты тогда. И так мы стояли еще, а ветер становился все сильнее.

— А у ней крест не наклонится?

— Ну если и да, то что?

Он гладил меня по голове.